



## Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

### Немой пророк

<отрывок>

<...> Гностицизм и прагматизм, созерцательность и ответственность — два вечно сталкивающиеся и борющиеся потока религиозной стихии. Хотя в последнем пределе религиозное созерцание и религиозное действие сливаются в одно, но до этого слияния предстоит им исчерпать все мыслимые противоречия. Уклон гностический, созерцательный есть по преимуществу уклон всего исторического и, в особенности, восточного христианства. Новому религиозному движению, которое, начавшись в западном христианстве, по всей вероятности, выйдет, рано или поздно, за пределы христианства, свойствен противоположный уклон — прагматический, действенный. Главное утверждение современного религиозного прагматизма заключается в том, что существо догмата иррационально, с человеческим разумом несоизмеримо, что оно открывается не разуму, а воле, не ведению, а деланию. Не что-то *знать*, а чего-то *хотеть* и что-то *делать* нужно для того, чтобы постигнуть существо догмата. Догмат есть указание не на то, как надо мыслить о Боге, а на то, как надо жить в Боге\*. Таким образом устраняется в прагматизм главный источник средневековой и современной схоластики — неразрешимый спор разума и веры, знания и откровения, философии и религии. По движению католических «модернистов» (от Ньюмана<sup>1</sup> до Леруа<sup>2</sup> и Луази) можно судить о том, до какой степени современный религиозный прагматизм

---

\* С философским и психологическим обоснованием религиозного прагматизма русский читатель может подробнее ознакомиться по замечательной книге Вильяма Джемса (William Jems) «О религиозном опыте».

(философская основа модернизма) по отношению к историческому христианству — революционен. В такой же мере гностицизм, если не реакционен, то консервативен. В лучшем случае, гностицизм есть начало религиозной реформации; прагматизм — начало религиозной революции. Римская Церковь, со свойственной ей чуткостью, догадалась об этом и в знаменитой папской энциклике о модернистах совершенно точно определила прагматизм как начало, угрожающее Церкви опаснейшей из всех революций.

Вл. Соловьев — гностик, может быть, последний великий гностик всего христианства. Разумеется, и он утверждает религиозную действительность, прагматизм, что, впрочем, неизбежно для всякой христианской философии. Но у Вл. Соловьева созерцание первоначальное действия, богоделание вытекает у него из богопознания, а не богопознание из богоделания, как у прагматиков. Для него сущность догмата открывается не воле сначала и потом разуму, а, наоборот, сначала разуму, потом воле. Он — рационалист, как всякий гностик. Не божественное воление, а божественное ведение, для него религия прежде всего.

Но это именно преобладание гнозиса обращает его к прошлому, отдаляет от настоящего и будущего, от самого жизненного движения нового христианства, или, может быть, *того, что за христианством* — от революционного прагматизма. Гностицизм и есть начало соловьевской реставрации, искусственного воскрешения старины в теократических грезах о вселенском самодержавии и вселенском православии, под верховным водительством вселенской догматики — или схоластики, ибо гностицизм, в противоположность прагматизму, утверждает главный источник схоластики — неразрешимый спор человеческого разума и божественного откровения.

Католические модернисты, сами того не желая, в силу революционной диалектики, которая заключена в прагматизме, — оказались революционерами. Вл. Соловьев, может быть, тоже, сам того не желая, в силу реакционной или, по крайней мере, консервативной диалектики, заключенной в гностицизме, оказался, если не реакционером, то консерватором.

Не только революция, но и реформация, не могли бы вспыхнуть от соловьевского гнозиса, как самый плохенький пожар от самого великолепного, вечернего зарева. Реальное действие соловьевской критики на Церковь поразительно ничтожно: критика эта для православия, как жало пчелы для гиппопотамовой кожи: православие, можно сказать, и не почесалось. Л. Толстого все-таки отлучили от Церкви. Вл. Соловьева не от-

лучали и не благословляли, а просто не заметили, как не заметили Чаадаева, Гоголя, Хомякова, Конст. Леонтьева, Достоевского.

Воистину страшно это церковное одиночество великого учителя Церкви.

«Мы жили тогда в одном из переулков Арбата, — вспоминает сестра. — Окна приходились низко над землей. Пасха была поздняя, окна выставлены; вхожу в столовую и вижу: окно настежь, брат сидит на нем спиной к комнате, спустив ноги за окно на тротуар, и христосует с грязным, пьяным нищим. А кругом собрались извозчики и смеялись, и восклицали умиленно: “Ну, что же это за барин за такой задушевный! Что это за Владимир Сергеевич!”

У него множество внешних светских друзей, или, так называемых “приятелей”, но внутреннего религиозного общения — ни с кем. Некому сказать: Христос воскрес — кроме уличного нищего. Он сам в церкви, как этот нищий. Потому-то, может быть, он “почти никогда не ходил в церковь”».

«Громил безверие верующих, — прославлял неверующих, — тех беззаконников, которые, попирая законы человеческие, блюдут законы Бога», — вспоминает сестра одну из его публичных лекций и приводит отзывы слушателей:

“Пророк! Пророк! Горел весь сам, как говорил; так и жег каждым словом. А лицо-то, что за красота! Да за одним таким лицом и голосом пойдешь на край света”.

“Что он, с ума сошел? Хорош верующий! За атеистов и всех подобных заступает... Против правительства, против законного порядка... Юродствует, оригинальничает, популярности среди этих красных ищет... Чересчур смел, надо бы ему рот закрыть...”»

И закрыли.

Или сам закрыл — онемел.

И среди этой немоты порою жуткий смех:

«Отчего говорят чернильница, а не песочница? Отчего говорят роза, а не пион?»

«Тяжела работа Господня!» — говорил он, умирая, и просил, чтобы ему не давали впадать в беспамятство, потому что «нужно молиться за евреев», может быть, и за тех «безбожников», которые, не зная имени Господа, совершают «тяжелую работу Господню».

Тут уже другое, не явное, а тайное лицо его; не прошлое, а будущее, не реставрация, а революция, ибо что же, как не революция, это утверждение, будто бы Христос не в церкви, сре-

ди верующих, а в Миру, среди безбожников. Одно такое утверждение не грозит ли разрушить всю систему отвлеченного гнозиса, как землетрясение разрушило свод Св. Софии?

Но об этой революции говорит уже не философ десятью томами, а немymi знаками немой пророк.

Будем надеяться, что тайну вещей немоты его разгадает когда-нибудь более внимательная критика, а пока согласимся, что если Вл. Соловьев, действительно, — предтеча Новой Церкви, то не тем, что он говорил и жил, как мудрец, а тем, что молчал и «умер, как безумец».

Все безмолвный, все печальный,  
Как безумец, умер он.

Вот за что мы любим его, вот чем он близок нам, — во всяком случае, ближе, чем остроумный и красноречивый философ, — этот безумный и безмолвный пророк.

